



БОРИС ЗАЙЦЕВ
ДАЛЕКОЕ

Борис Зайцев

Далекое

«Public Domain»

1950, 1960

Зайцев Б. К.

Далекое / Б. К. Зайцев — «Public Domain», 1950, 1960

ISBN 978-5-4484-7908-3

В книгу Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) – первого председателя Всероссийского союза писателей, отправленного в 1922 году в добровольно-принудительное изгнание, вошла часть его огромного творческого наследия, в частности мемуарно-биографическая проза. Это написанные в присущей ему поэтической манере беллетризованные биографии «Жуковский», «Жизнь Тургенева», «Чехов», а также мемуарные произведения «Москва» и «Далекое».

ISBN 978-5-4484-7908-3

© Зайцев Б. К., 1950, 1960
© Public Domain, 1950, 1960

Содержание

Жуковский	5
Мишенское и Тула	5
Университетский пансион	11
Поэт	16
С Протасовыми	22
Деятель	28
Снова Протасовы	31
Воейков и Жуковский	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Борис Константинович Зайцев

Далекое

Жуковский

Мишенское и Тула

Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит она прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги – светлая душа страны.

На полпути между Орлом и Калугою протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, с яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии – те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Бунину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный дом с флигелями, оранжереи, пруды, парк, роща дубовая. Недалеко сельская церковь – как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие пышные луга. Просторная, бессвязная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иванович человек добрый и благородный, ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно просто: охота, водочка, развлечения деревенские. И слабость явная – по женской части.

Он женат на Марии Григорьевне Безобразовой. Нередкое вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного, и женщины, несущей бремя покорно и безответно, «подымающей» дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз, за короткое время, пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзажиков и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь русские альманахи и журналы (какие названия! «Приятное и полезное препровождение времени», «Распускающийся цветок», «Иппокрена, или Утехи любословия»). Девицы же насыщаются и французским: «Новая Элоиза» Руссо, «Адель и Теодора» г-жи Жанлис, и в подобном роде – чувствительное и романтическое. Все с детства хорошо говорят по-французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества – то рекрутский набор, то продажа людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буниных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Иваныча, Варлашка, – смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полудруг, полуслужащий, полуприживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, игравшей на фортепиано и «изрядно» певшей. Был и «управителем» богослужебного пения в доме и церкви. Этот Андрей Григорьевич оказался не зря в доме Буниных. Да и русской литературе принес смиренный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иванович полу в шутку: «Вот, идешь воевать, турок бить – ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе».

Война оказалась удачная. Все, что надо было, забрали, что надо – сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу при этом перебили достаточно, и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи, – а было ей всего шестнадцать лет, – убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Ивановича; турчанки – собственность воителя. Но, возвратившись в Мишенское с награбленным, турчанок передал он Афанасию Ивановичу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном: Сальхи, молодой вдовы – «прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной», и бедной девочки Фатьмы, захиревшей и скоро умершей: Бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха же выжила. Ее сделали няней младших дочерей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно начала подыматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место – русские девушки-госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Ивановича было бы пропустить такую Сальху. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть, что и нравился. Все равно, если бы и нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком случае, так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Сопrotивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле незаметно, так бы незаметно и прошла, если бы...

Одна за другой появлялись у ней девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно. Но вот 29 января 1783 года явился на свет Божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно, по просьбе самого Бунина, Андрей Григорьевич Жуковский, в то время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть восприемником турецкого мальчика, крестной же матерью предлагал Варю Бунину – ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна согласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее ею испытанное была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод «греха» и обиды. Каков будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услышала.

Маленький, новый, полупленный беззащитный человечек... Сердце ее дрогнуло и открылось. «Безмолвно усыновила она его в своей душе».

Так все и вышло. Андрей Григорьевич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по-гречески царь. Но по-русски звучит мягко, скорей женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреич Жуковский.

* * *

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иваныч вернулся в большой дом. Отношения их стали лучше – над чем-то поставлен крест. К Сальхе же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоговейное. Сальхою, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Варя Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругою детства Васи Жуковского, его «одноколыбельницей», как он потом выражался (маленьким он ложился иногда к ней в кроватку, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо вившиеся от природы волосы, ранняя склонность к мечтательности (несколько и рассеян) – светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный.

Выясниться это могло лишь позже. Про эти же младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и «мужественное», тоже довольно рано, в облике непривлекательном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из портняжного заведения, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учится он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горох), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость несвойственна. И Марья Григорьевна и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорьевич пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры – с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону Божией Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу и, по-видимому, удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены; крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила – у мальчика руки испачканы были мелом.

Андрей Григорьевич очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая – есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с

ним, отдельно от семьи, «на чердаке во флигеле». Почему вышло это – неясно. А как будто показывает, что не совсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорьича. Незаметно, бесшумно ушел он из жизни крестника. След же, конечно, оставил (благотворный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иванович получил место в Туле. Туда переехали всей семьей. Мишенское осталось для лета. На учении мальчика это отозвалось тем, что его отдали в Туле в пансион Роде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Ивановича, в марте 1791 года. Не то чтобы любил он его или был близок. Скорее наоборот – далек, да и неясно восьмилетнему мальчику, кто это, барин не барин, отец не отец – некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили – весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с «бабушкой» и полуплемянницей, «одноколыбельницей» Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм – первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щеки. Аня достать не могла – он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки – кроме Ани Дуня и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим «дядюшкой», который им довольно странно приходится как бы свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья же Григорьевна остается с частью внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

* * *

Варвара Афанасьевна Юшкова, «крестная», была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку – музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорьиче Жуковском со скрипкою его и хоровым пением.

В Туле размах оказался шире. Варвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась, и сама она была направления передового – сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других того же духа. Интересовалась она и текущей литературой альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрывшемся, а в народном тульском училище.

Старший учитель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший (сотрудничал в «Полезном и приятном препровождении времени» под псевдонимом «Философ горы Алаунской»), не приучил мальчика к науке и вообще его не понял. «Я помню, – писал старый Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой, – как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприязни».

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок своеобразный, со своими вкусами. А ему вдалбливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего не вышло, училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да еще и многому другому.

Главное же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского – сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл, или Освобожденный Рим», которую и поставил сам к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер – играет Камилла. Девочки в белых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления – столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плошечки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес – простыня. Кулисы и декорации – мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце с лентами. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской, но тут обращалась в царицу. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. «Познай во мне, – говорит она, – Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» «О боги, Олимпия, что сделала ты?» – восклицает Камилл. «За Рим вкусила смерть!» И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор – как и многие молодые авторы, – сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько же это интереснее, чем зубрить правила арифметики философа горы Алаунской!

Выбирается произведение еще более подходящее (по духу чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернардера де С. Пьера «Павел и Виргиния». Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу «Г-жа де ла Тур». Теперь уж он опытный режиссер, труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но театр вещь коварная. Не все знаешь заранее, подымая занавес, – оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплосхвали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился десерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась ли Варвара Афанасьевна – был ли десерт слишком вкусен, обилен? Слишком ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? Летописец сообщает кратко: «Актеры вышли из ролей, и представление расстроилось», – разумеется, к ужасу будущего романтика занялись больше десертом, чем искусством. И насколько «Камилл» прошумел, настолько провалилась «Г-жа де ла Тур». Автор был очень недоволен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в себе. С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек («девический ареопаг», будто бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае, опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.

* * *

Может быть, частью плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полуматерински), все-таки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это еще не имеет значения, но вот время идет, он уже автор «Камилла», вопрос должен вставать – и перед ним, и перед девочками. Кто же этот Вася Жуковский, полубратец, полудядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину старому. Все же отрок, чья мать турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полуприслуга, полурабыня, отец же незаконный – такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковского это было труднее, в нравственном же полезнее: удаляло от кичливости, высокомерия барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все же сидел помещик, «дворянин», от которого надо было освобождаться (Пушкина – смерть и страдания ее освобождали). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененном в быту крепостничества. Не приходилось ни знатностью, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из «интеллигентов» российской литературы.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась «госпожа» – он ее звал всегда: бабушка.)

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк – в нем некогда служил и Афанасий Иванович. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое-какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел Императрицу Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребяческие, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна», спрашивает о ее здоровье, говорит о своем («здоров и весел»). Описывает и свою жизнь: «Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками». (Дар располагать к себе был щедро ему дан – с ранних лет.)

«Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».

Подписывается он: «Навсегда ваш послушный сын Васинька».

В другом письме сообщает, что у них был «граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастiónов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я тоже пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович».

От родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: «У нас здесь, вправду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей...» «Всегда ваш послушный сын Васинька».

Правда, что развлечения больше в пальбе, но, очевидно, драматург и режиссер тульский не очень и требователен, мир же, перед ним открывающийся, вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол взошел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез «Васиньку» обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому – не ружейным приемам и не арифметике философа Алаунского.

Университетский пансион

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор университета Московского, основал при нем Благородный пансион – нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, пансион обосновался между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель – квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управлял «директор университета» Тургенев и инспектор Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целью не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и «друга человечества».

Удивительно обучение этого пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от Закона Божия до наук военных. Но главное – литература, история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки – русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем же – дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым был потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино да Фельтре, известный педагог, создал свою Casa gioiosa¹, учебное заведение, проникнутое духом гуманности и свободы, – оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало. Среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а «бабушка». Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала никогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а «Васиньку» вести как сына.

Обещание выполнила. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по 2500 р., к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все же свои средства. Главное же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие учителя, товарищи любопытные, благочестие, литература и искусства... – можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иваныч ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из народного училища, но вот теперь все оборачивается по-иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе («словесное отделение» пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года, признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурой его – поэзией.

Прокопович-Антонский, благожелательный масон, был первым председателем Общества любителей российской словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу пансиона, а

¹ Радостный дом (*итал.*).

распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, усаживали гостей и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников – литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор «Камилла» заявил себя сразу, и в 1799 году, при первом же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы – Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать – ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18 мая 1799 года.)

«Председатель В.А. Жуковский (ему шестнадцать лет) открыл заседание речью «О начале обществ, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Потом читали стихи воспитанника Лихачева «Ручеек» – передали на отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина «Россу по взятии Измаила».

...«Председатель В.А. Жуковский назначил очередного оратора, чем и кончилось заседание».

* * *

Жуковского времен пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с выющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь день с большой точностью, до 9 вечера, когда «после ужина и молитвы» предписано «спать ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в пансионе «благопристойно»: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно – как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утешавшее и мечтательность, и фантазию – всё учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мишенском, находился он здесь в не совсем естественном положении. Товарищи его – вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это – старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопросы материального для этих юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков, денег карманных у него мало. В этом он один из последних в пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастью, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось,

самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого пансиона.

Духовная же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели» Додслея. «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».

Жуковский читал, значит, и сам, и другим мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это – хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моя, красота лугов, гром и т. п. – все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души.

* * *

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некоторый Синай, перед которым он благоговееет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатеринское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и, созерцая заход солнца, вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души – на Западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса – к великому космосу сердца – уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду свою «Благоденствие России» он читал в пансионе в 1797 году – ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне – из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие («Зиять престали жерлы медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос этот еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а –

С улыбкой ангельской, прелестной,
В венце, сплетенном из олив,
Нисшел из горних стран эфира
Сын неба, животворный мир.

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того же года, мотив и иной, совсем уж духа интимного. По форме – первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».

Бело-румяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черныя нощи.

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки выются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему Творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) – но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

Жизнь, мой друг, бездна
Слез и страданий...
Счастлив стократ
Тот, кто, достигнув
Мирного берега,
Вечным спит сном.

В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в пансионе на Собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полуребенке легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» – стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу среди множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно» и т. п. – но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

Тогда останутся нетленны
Одни лишь добрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть,
Мы живы в самом гробе будем.

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

* * *

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» – там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного унив. пансиона воспитанник Вас. Ж.») – все же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское – там гость и брат дорогой для всей юной женской части населения. Девушки Юшковы и Вельяминовы обожали его – десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в пансион, называя «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснотушеством, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де с. Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот же пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора университета Ивана Петровича Тургенева бывал Жуковский запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкой по четыре пьесы вдруг». Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром – это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо, поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от дилетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот – на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг древа – так вместе и прожили, с пансионских времен.

Через тот же пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда же и знакомство с Дмитриевым – тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем – главнейшем в мастерстве стиха, а Карамзина «евангелистом» – этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1800 году Жуковский блестяще окончил пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

Поэт

Александра, Андрея Тургеневых, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение – сразу в «архивные юноши», Министерство иностранных дел (тогда называлось: Иностранная коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, сановничеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.

У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в «Контору соляных дел», на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя Долгорукова, который уже имел о нем представление как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользнула бесследно. Позже он заметил о ней кратко: «...Я вошел в главную дурацкую Соляную контору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802». Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как приготовление, даже плодотворна. «Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью, – пишет ему Тургенев, – уединение, независимость, легкая служба... Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце – жар поэзии!»

Вне канцелярии – под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское Литературное Общество. Его столпы – Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские и воспитанники Благородного пансиона. Получился целый кружок – кроме главарей – братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем-то, до времени, их юное прекраснотушное обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 годов устраивались пирушки сочленов Общества – собрания, их участникам запомнившиеся по-хорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они –

С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали.

Все это – в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи, к чему-то стремящейся, ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском Обществе от Андрея Тургенева получает он первые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него доходившей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.

Здесь же крепнет культ дружбы – тоже для него сила огромная.

Но все это кратко. Жизнь их разводит, Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайсаров за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили «с душою прямо геттингенской». Там будут они насыщаться германской наукой и входить в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому же неуютно в Москве, в Соляной конторе, без Дружеского Литературного Общества, с одним князем Долгоруковым и его снис-

ходительным поощрением. До какой-то минуты все это терпится. Но для юноши «с демоном», как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы – в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гёте, Лессинга, да много другого, французского еще вроде Флориана, Жанлис – и в апреле 1802 года, по просыхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе – домой, в Мишенское. Что будет дальше, неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии. В Мишенском многое переменялось. Старого Афанасия Иваныча давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая «бабушка». Девочки же полуплемянницы (Юшковы, Вельяминовы) стали девушками, чувствительными, изящными. Как и матери их, они образованны и начитанны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец, – в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла же сбежать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых «поселян», захватив с собой Библию и Руссо: ненадолго, разумеется.)

Мишенское для Базиля не дурацкая Соляная контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распушенность быта мишенского – стиль Афанасия Иваныча отошел. Никаких псарей, выпивок, походов. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим – тем живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного пансиона, читает им вслух. Как и тогда, новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базиля. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому-нибудь Гремучему ключу, «сочиняет» стихи, есть даже «холм» его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.

Демон не зря уводил его из Конторы соляных дел. Наступал час прорыва плотины – жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном пансионе, оды на актах – это все еще полудетское. Роковое лишь начинается.

Оно состоит в том, что наконец силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно, как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, создавшийся облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С «этого» начинается Жуковский, остающийся в литературе.

Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала свое чужое – элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила – подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в не своем свое выразил.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою:
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

Как будто и прежнее, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное колыхание стихов и все оваяно меланхолией чистой и прекраснотушной. На деревенском кладбище спят «поселяне», люди безвестные, но, может быть, и неведомые гении, так и ушедшие, не проявив себя, – как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно бродящий и близ реки и близ ивы, –

Он кроток сердцем был, чувствителен душою...

Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтательными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, «проливал слезы» – и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот «холм» – Парнас.

Однажды Базиль и принес с Парнаса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве «Вестник Европы», первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин – старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже «чувствительный». Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился...

Тут Базиль не мог бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девическая его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI кн. «Вестника Европы» на обложке его розовой стояло: «Сельское кладбище». Подпись полная – уже не «воспитанник Благородного пансиона...», а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.

Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства – признан, как же не радоваться.

Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из «Сельского кладбища» как образцовый.

* * *

Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?

Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский – сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.

Но и собственная жизнь отозвалась. Нельзя думать, что уж так идиллически-ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но, видимо, недостаточно. Как-то с прохладцею, может быть, и снисхождением. Ему же хотелось большего.

В дневнике его 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».

«Не был любим никем» – это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полюбят, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Бунинными и оказалась связанной?

С матерью не совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания, не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. «Самое общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не

таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи».

Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет ему отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже сесть не может – вечное напоминанье о неправильности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя – ранило молодое самолюбие.

Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность, все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба – все так остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно предощущает уж горести, бездны, величие бытия. Бытие же само предлагает примеры грозных своих дел.

В грусти «Сельского кладбища» многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской – все как будто раскрыто перед ним в жизни – двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. («Распотевши поел мороженого» и через четыре дня скончался.)

«Дружба есть добродетель», – говорил Жуковский, опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснотушные молодые люди, до-пушкинские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 году Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда Кайсаров «обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал». Он обнимает его и целует руки. Тот тоже плачет и целует Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург.)

Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно признавался им обоим, что к Андрею у него чувство выше, глубже, необыкновеннее... «Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством... ему подавал руку с особенным, приятным чувством». Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильнее. Заражает энтузиазмом своим, любовью к литературе, возвышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей – проживи он дольше – мог быть и в дальнейшем его «руководцем».

И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург – как же ответить на вечную разлуку?

О горе Жуковского знало, конечно, опять Мишенское, берега Оки, холм Парнас и милые девушки. Поэзия наша узнала в стихотворении «На смерть Андрея Тургенева».

В сем мире без тебя, с душою, благ лишенной,
Я буду странствовать как в чуждой стороне.

Без друга для него жизнь не жизнь. Встретятся они «во гробе». Он ждет этой минуты, как счастья.

Надежда сладкая, прелестно ожиданье!
С каким веселием я буду умирать!

Жуковскому было всего двадцать лет, когда написались эти стихи, не лучшие у него. Последняя строка вызывает улыбку, но и сочувствие. Так ли уж, правда, приятно умирать, даже

для свидания с другом, юноше, ничего еще по-настоящему не испытывавшему? Когда Жуковский – еще «весь впереди», с назначением узнать и славу, и любовь, и горе, и разлуку – писал простодушный свой стих, был он, конечно, правдив – как поэт. А больше ведь нельзя и требовать. Жизненно это значения не имеет.

Кое-что он мечтал сделать для памяти Андрея: издать его письма, которые всюду возил с собой, перечитывая в Белеве; хотел написать краткую историю его жизни. Предлагал отцу посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду – он должен бы напоминать им «любезнейшего человека», соединял бы всех в общем чувстве. Хорошо бы, если бы они все в этот день думали и делали одно. (О церковном поминовении Андрея не упоминается. Религиозность Базиля была еще слишком туманной и от церкви далекой. То, что заупокойная литургия или даже панихида лучше соединяла бы друзей в общем чувстве, ему не приходит в голову.)

Думал и поставить Андрею памятник, на что Мерзляков, живший тогда в Москве, возражал, что лучше пусть будут они сами «могилами живому, вечно живому духу нашего друга».

В писании Жуковского незабвенность Андрея сохраняется – трогательная и преданная. Через шестнадцать лет – в стихотворении «Надгробие». Чрез сорок пять, на закате его самого, в полных любви строках прозы: воспоминание о кроткой, непритворной и доброжелательной душе друга, об остроте его ума, в которой ничего не было ранящего, способного кого-нибудь обидеть в беседе, ибо соединялась она с «нежностью» сердечною».

Андрей был крепче, властней и сильнее, чем изображает его здесь Жуковский. Что-то он дал ему от себя. Это не умаляет любви, сохранившейся до полувека.

* * *

«Вадим Новгородский» – первый опыт Жуковского в художественной прозе. Вещь неоконченная, напечатана в «Вестнике Европы» 1803 года, с простодушным примечанием Карамзина: «Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский, известен читателям “Вестника Европы” по Греевой элегии, им переведенной».

Не приходится скорбеть, что «Вадим» не закончен. Повесть – не мир Жуковского. Он лишен здесь главной своей прелести – воздушно-музыкального стиха. Остаются «чувствительность» и сладостность, вполне карамзинские. Карамзину должно было это нравиться. Сейчас отрывок интересен только как летопись души: введение к нему опять отзвук смерти Андрея. («Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами – но тень твоя надо мной...» и т. д.)

Это все та же, меланхолически-мечтательная линия жизни внутренней. Она сильна и бесспорна в юном Жуковском, но не одна в нем. Никак нельзя представлять его себе только томным певцом, героем – поэтом «Сельского кладбища», скитающимся непрестанно у «светлых вод» и развесистых ив, оплакивая себя и погибших друзей. В нем была и другая сторона. Он любил жизненность, порядок, деятельность – но разумную, недаром плохо учился в детстве и хорошо в Благородном пансионе. Он и в Мишенском в эти годы много работал, читал, учился, переводил, сам писал.

В Москве живет Мерзляков, приятель по Дружескому Литературному Обществу, старше его лет на пять, уже бакалавр и преподаватель в университете. Из мишенско-белевского уединения Жуковский с ним переписывается. Мерзляков трезвый, даже не без едкости, практический человек, в литературе склонный к классицизму, с романтизмом Жуковского не мирившийся, все же принадлежавший к кругу Андрея Тургенева. Переписка живая, бодрая, есть в ней струйка, связанная и с Андреем, но вообще она очень жизненна: Мерзляков занят литературными делами Жуковского. Устраивает ему переводы, торгуется с издателями, зовет в Москву – «Вестник Европы» лишается Карамзина, надо работать там. Видно, что дела материальные весьма занимают Жуковского – иначе и быть не могло, хоть в Мишенском все же

он должен жить и имея свой заработок. Для него, разумеется, важно, даст ли Зеленников за «Ильдигерду» пять рублей за лист или больше. Правда, что, занимаясь с учениками, Мерзляков представляет себе Жуковского под Белевом в виде Анакреона или Овидия, но Анакреону (на которого, кстати, Жуковский совсем похож не был) на что-то существовать надо, и он трудится неустанно. Кроме Шписа и Коцебу («Мальчик у ручья», вышедший в 1801 г.), над которыми работал и раньше, переводит – несколько позже – «Дон Кихота» в переложке Флориана. Это труд уж обширный. В 1804–1806 гг. «Дон Кихот» вышел в шести небольших томах. Стихи романсов и песен в нем переданы очень легко и гармонично.

В это как раз время ездит он летом к Карамзину, гостит у него подолгу в подмосковном Кунцеве со знаменитыми его дубами, лесами, папоротниками – перед Карамзиным благоговеет, это старший брат, друг и наставник. Мерзляков зовет его к себе в деревню, тоже гостить. Жуковский отговаривается неотложностью занятий. Но обещает все-таки приехать – тут и выясняется, что Жуковский строит себе в Белеве домик.

Это кажется неожиданным. Меланхолические певцы будто бы думают только о том, с каким веселием станут они умирать. Оказывается, не совсем так. Они строят и дома.

Со стороны внешней постройка белевская дело рук Марьи Григорьевны Буниной. Она настояла на том в свое время, чтобы у «Васиньки» оказалась к совершеннолетию хоть небольшая, все же своя сумма денег. Со стороны внутренней – очевидно, Жуковский хотел именно своего угла вполне, где бы мать не была ключницей Буниных, а он был бы полным хозяином. Поэтому и начал постройку в Белеве, на Казачьей улице. С берега Оки открывался там чудесный вид на реку, луга, окрестности. Все так выбрано, чтобы нравилось поэту. Но поэт, на время становясь строителем, вполне мог интересоваться и тем, сколько стоит какой-нибудь тес на крышу, где дешевле достать стекло. Летом 1804 года дом еще не готов. «Нам не надо, – пишет ему Мерзляков, – твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши». (Мерзляков так писал, но в конце концов ни он, ни Воейков, у которого он жил тогда в Рязани, в белевскую «палатку» не приехали.)

Жуковский же, наблюдая за постройкой, продолжал и писать. Он еще совсем одинок, единственная любовь его – Муза. Ей он и отдается. Молод, но чувствует, что дело серьезное. 1804 год заканчивается большим стихотворением «К поэзии»:

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь,
О прелесть тихая, души очарованье,
Поэзия!..

По словесному одеянию предвозвещает кое-что здесь Пушкина. По содержанию это гимн искусству вольному, независимому, вознесение поэта на ту же высоту, куда и Пушкин его поставит. Это отчасти программно. Вроде и обета поэтического.

Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи –
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой, –
Презревши роскоши утех,
Пойдем великих по следам!

Независимым поэт обязан быть, он возжигает сердца, славит героя, украшает бытие, громит «жестоких и развратных». Награда – слава в потомстве. Дается же эта слава и свобода бедностию. Оттого и презирает он «роскоши утех». Оттого в Белеве нужен ему не дворец, а домик.

С Протасовыми

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможни в Кяхте, и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридевять земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видала связи отца с Сальхой и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибири совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой. Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещичьего, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет света и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность...

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских дебрях близ Китая русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни своей была она религиозна церковно. Но, конечно, «религия души» в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась «Новая Элоиза». Это была главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника кяхтинской таможни. Знала ее чуть ли не наизусть – рядом с ней и «Адель и Теодору» Жанлис. Видимо, много в одиночестве думала, видала жизнь сестры незадачливую – и слагалась в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколько и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сделает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помирились, Афанасий Иванович жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того, бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут-то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетушки, называл на «вы» – «Екатерина Афанасьевна». Она его – ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдалила ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд ли ей был близок – Андрей Иванович любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды предводительские, открытый дом... – так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, в действительности разоряясь и залезая в долги, – этого у предводителя могло и не быть. К несчастью для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Ивановича как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, разорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805) она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселямросло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьевна все приняла. Долги – так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать имения. Скоро осталось одно Муратово Орловской губернии. Но там не было господского дома – жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но, по-видимому, от своих она отошла сильно – да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не

хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшой дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем – религии, нравственности – вырабатывался характер цельный, не без властности. Он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полумонашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня – этого нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает – отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны – две-три бочки с водой да какая-нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», – заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской полиции. «У меня нет людей». – «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но, видимо, не оказался расторопным. Считал ли он это ненужным, робел ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

* * *

Молодой «появившийся» поэт Жуковский был еще появлявшимся человеком Жуковским. Он еще только слагался. Много было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших – вековые вопросы мучают и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере – все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном пансионе. Далее – переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье – в вере в бессмертие». Это для юноши Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако, если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?».

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе... – это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительнее простой умственной философии; но только хочу, испытаю и увижу». А пока что –

колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия». Это в теории. А в действительности с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами». Так что закваска его христианская была кое-чем и отравлена.

Но вот дружба дельна, трещин в ней никаких. В дружбе – стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко – Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится, и работать дома не хочется – все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 г. М.Н. Свечиной – типа *amitie amoureuse*² – не в счет.) Никаких Лаис, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодушием и нежностью, желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. «Спокойная, невинная жизнь». Занятия литературой. Любопытно еще в программе – и характерно для всего Жуковского: «Удовольствие некоторых умеренных благоденствий» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был – в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы. Это же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви, и женщине, и семье – возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходяще. А сердцу пора уже было изливаться.

* * *

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разорение Андрея Иваныча не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния – нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего – бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Это – жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытей сестры, шаловливей. Везде, где проно-

² Любовная дружба, дружеская любовь (франц.).

сится, – смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы – последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское времен старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно – учитель есть, совсем рядом, свой же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт – уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уж готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его Елизавета Дементьевна. Ему же удобнее было в Мишенском, из Мишенского он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть в шляпе широкополой, из-под которой кольцами выются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве – там ждет строгая маменька и две тоненькие девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают же и нескучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя-юноши, юноши-поэта, который на полах плаща своего приносил в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел, и души русской, – чтобы приход этот не был праздником. Это не пядь, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры – прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в учебные тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы, – нечто от своего Благородного пансиона внес в белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При этом некоторая система (для «романтика» этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, риторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подросли) – сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гёте, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Кребильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афанасьевна. Частью это был надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушек, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал не блестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен, и они им довольны, но о чем Машенька мечтала, оставаясь одна, ложась спать, или в звездную ночь глядя из окна девической своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел в летнем сумраке Базиль со своей поэзией, – этого мать не знала. Знала подушка, может быть, немного сестра Саша. Но все это еще так неясно, и томно, и обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем-то эта скромная Маша – полевая кашка – предваряла и Таню Ларину, и Лизу Калитину.

В том же роде и чувства Базиля: чем дальше, тем больше. Вот он сам говорит – ему слово: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве».

Вряд ли, записывая, угадывал, что будет для него этот «ребенок», с которым, когда вырастет она, мог бы быть счастлив, – о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уж думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как мысли о ней будут оживлять его и «веселить» во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому – и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостию вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный – басни: Флориана, Лафонтена. Усердно переводит их, печатает в том же «Вестнике Европы», где появилось «Сельское кладбище». Это – скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей», нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того, что в ней особенно высоко: дружбы. («И где же вы, друзья?..») Это – мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приокского пейзажа, как бы и пропетого.

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!..

Тихая эта гармония проникает всю элегию – «как тихо веянье зефира по водам», – может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого дуэта Лизы с подругою в «Пиковой даме» взяты отсюда:

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает...

«Легкозвонность» Жуковского принимает здесь оттенок зеркально-прозрачный, отблеск солнца вечеряющего лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность.

Не для «внешней» литературы еще один слой писания его, отныне он будет сопровождать потаенно, по разным записочкам и альбомам, явному ходу поэзии. Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16 января, альбом стихов. В середине заглавного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: «Памятник прямой дружбы». И затем, на обороте листа четверостишие:

Мой друг бесценный, будь спокойна!
Да будущего мрак тебя не утратит!
Душа твоя чиста! ты счастья достойна!
Тебя Всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковывавшей. Знала ли об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд ли могла бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все же возжигание чувств в полуребенке. А оно продолжается. Того же октября 1806 года и другое стихотворение, ею же вдохновленное («Младенцем быть душою...»), полное того же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче. («М. при подарке книги».)

На новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!

Какое может быть уж тут сомнение? Маше скоро пятнадцать. Своего полудядю-наставника знает она слишком хорошо – иначе как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи, он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

«L'amor che muove il sole e l'altre stelle»³ – любовь, все движущая, и его вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы знала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских краев предстояло удаляться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше оставаться. И уехал в Москву.

³ «Любовь, что движет солнце и светила» (*итал.*) – этой строкой заканчивается «Божественная комедия» Данте.

Деятель

В конце 1803 года Карамзин отошел от «Вестника Европы» – взялся за «Историю государства Российского». Журнал передали Панкратию Сумарокову. Тот вел его неудачно. Качественский, несколько позже, также не преуспел. Стало ясно, что, если не принять решительных мер, дело погибнет. Вспомнили о деревенском Жуковском. И обратились к нему как к надежде литературы российской.

Шаг оказался правильным. Для Жуковского «Вестник Европы» был колыбелью. Равнодушным к нему он не мог быть. С другой стороны – для молодого поэта предложение лестно, возбуждает, дает выход и силам, и самолюбию. (А сил было достаточно.)

В Москве поселился он, по-видимому, вновь у Прокоповича-Антонского, в доме Шаблыкина по Вражескому переулку, в комнатке белого флигеля.

Началась полоса некоторого кипения – молодому выдвинувшемуся автору на первых порах всегда интересно быть редактором, кого-то привлекать, кого-то отдалять, создавать друзей, врагов, чувствовать, что его труд нужен, даже срочен, если иногда утомителен, то и направлен к цели высокой, настоящей. Есть и ответственность, и сознание власти.

Жуковский взялся горячо. Его призвали поднять журнал, он и подымал. В 1808 году «Вестник Европы» вышел уже за его подписью. В «Письме из уезда» он дает как бы программу, свое отношение к журналистике. Оно очень серьезно и даже возвышенно. Чтение должно быть интересным, но и что-то давать. Это не просто забава. Цель журнала осведомлять и питать. Надо печатать произведения поэзии, своей и чужеземной, повести и романы, но серьезные, а не «ужасные» или «забавные». Философия, вопросы морали, осведомление о всем движении идей в мире, новейших открытиях («действующих на благо общества» – о разрушительных не было еще речи). «Журналист описывает новейшие и самые важные случаи мира» – служит связью с самыми отдаленными краями земли. Но только не занимается политикой. Критики тоже не много: нужно творчество положительное, не разложение (вполне Жуковский, утвердитель, а не подкапыватель). И на самое звание писателя взгляд соответственный: «Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать за собой других – вот благородное назначение писателя».

Непрерывно стремиться самому к истинному и прекрасному! Задача роста, самовоспитания, самоусовершенствования. Путь в сущности религиозный. Зачаток линии Гоголя, не Пушкина.

1808 год наполнен писанием и деятельностью. Это не угашает тяготений белевско-мишенских. Маша осталась в глуши. Жить ему можно в доме Шаблыкина, а глубоко и потаенно – не важнейшей ли – частью души находиться в белевском домике Екатерины Афанасьевны. Расстояние лишь обостряет. Маша главенствует – теперь и проза Жуковского ею проникнута. Вот ей исполнилось пятнадцать лет. Во второй кн. «Вестника Европы», вышедшей в это время, помещена повесть Жуковского «Три сестры» с подзаголовком: «Видение Минваны». Минване тоже пятнадцать лет. В день рождения своего она выходит на прогулку к реке и роще сентиментального пейзажа и там встречает трех таинственных дев, Вчера, Нынче, Завтра, – от старшей, Вчера, выслушивает нежно-философические наставления, вполне отдающие молодым редактором «Вестника Европы». А затем девы, показав ей смысл прошедшего, настоящего, будущего, так же мгновенно исчезают, как явились. В «Трех поясах» – она же Людмила, скромная и незаметная, но обаятельная, – берет верх над сестрами, она, цветочек «маткина душка», становится невестой киевского князя Святослава.

Ей и стихи в этой повести:

Роза, весенний цвет...

(гордая роза опалена солнцем, а «маткина душка» процвела).

И «Марьиная роща» с нежным певцом Усладом, грозным Рогдаем – и тут уже прямо Марией – внутренне устремлена к непрославленному городку Белеву (хотя действие происходит на берегу Москва-реки). Повесть печальна. Рогдай убивает Марию из ревности, любовь ее и певца Улада перенесена в вечность, за гроб. В здешней жизни она не осуществилась.

Проза всех этих произведений не подымается над карамзинским, «сладостным» повествованием. В литературе место ее малое. Это лишь история сердца.

Но стихи той же полосы, тою же любовью прямо или косвенно вдохновленные, украшают вполне «Вестник Европы». Сохраняются прочно и в словесности нашей. Кто, кроме Жуковского, мог написать такую «Песнь» («Мой друг, хранитель-ангел мой...») – некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный, всю жизнь потом волновавший его (да и ее):

Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной.
.....
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

Любовь есть восторг, но и горечь: не зря он начинал под знаком меланхолии. Вот послание «К Нине». Смерть – уносит ли с собою и любовь? Все ли мгновенно, погибает?

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?

В словах как бы и утешение:

О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вещает, для нежной любви.

Но тон послания остро возбужденный, взошедший на вечной печали расставания с любимой.

Мой друг, не страшися минуты конца...
.....
Я буду игрою небесных арф
Последнюю муку твою услаждать...

Смерть бродит около. От нее надо закрыться, ее преодолеть.

«К Филалету» (Послание Ал. Тургеневу) меланхолией напоено уже вполне. Есть в нем глухой намек на судьбу собственной любви («...И невозвратное надежд уничтожень»). Даже отдать жизнь свою за счастье близкого существа не дано, не говоря уже о счастливом завершении любви.

(Жуковский мог только еще мечтать о браке. Ничего выяснено не было, но висела угроза: родство. Маша – дочь его сводной сестры, полуплемянница. Может ли стать женою? Благословит ли на это мать?)

Все было еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве. Среди чтения рукописей и корректур, треволнений и восторгов сердечных идет медленная внутренняя перестройка по части литературной. Основная и

давняя его закваска – французская. На ней взошел он. Но уже Андрей Тургенев кое-что заронил: есть и германская литература. В 1806 году просит Жуковский (Александра Тургенева) прислать «что-нибудь хорошее из немецкой философии», она больше возбуждает энтузиазм. Гёте и Шиллера знает он довольно давно, но доходят они неторопливо, как и язык немецкий. (Первый перевод его из Шиллера «Тоска по милом» – 1807 год – говорит о неполном владении языком.)

В «Вестнике Европы» он дает все еще много места французской литературе. Печатает Шатобриана (путешествие в Грецию, Иерусалим), Жанлис, Шанфора. Как критик находится во власти Лагарпа, хотя уже и Лессинга знает. Но Германия выдвигается – для его же собственной славы и успехов. В 1808 году напечатал он балладу «Людмила», переделку Бюргеровой «Леноры»: начало поэзии «чертей и ведьм». К его миру сердечному эта вещь отношения не имеет – писание чисто литературное. Бюргера ставит он еще в это время рядом с Шиллером. В гробовой и могильной балладе что-то его задело, он воодушевился, применил все к славянскому миру, соответственно облику своему кое-что и смягчил, во всяком случае написал остро и возбужденно. Можно так или иначе относиться к «Людмиле», но считать ее вялой нельзя. В ней есть неприкрытая обветшалость, но под ветхими декорациями жива острота самого созидания. Написавший ее писал рьяно. И как с Жуковским часто случалось, менее удержавшееся в потомстве более шумело при жизни. «Людмила», конечно, имела успех: ярко, эффектно, ночная скачка с женихом-мертвецом, церковь, петухи, вместо свадьбы могила и брачное ложе со скелетом – читателям нравилось. Но во всяком случае, хорошо было то, что Жуковский, хоть и через Бюргера, несколько аляповатого, подходил к германской поэзии, где для души его нашлась истинная родина. Скоро появляются уж и Гёте, Шиллер, среди всего этого один лишь француз – Мильвуа с «Песнью араба над могилою коня». Здесь блеснул Жуковский двустишием-рефреном:

Сей друг, кого и ветер в полях не обгонял,
Он спит, на зыбкий одр песков пустынных пал...

шестистопный ямб летит молнией самого коня, мчащегося в пустыне (благодаря пэонам, слогам без ударения, убыстряющим ритм: радость поэтов русских в ямбе, чем и Жуковский и позже Пушкин так упивались).

Надо считать, что двухлетие это в Москве, когда он редактировал «Вестник Европы», было для него успехом. Он много работал: поэт, новеллист, критик, статьи о театре, частью публицист и философ. Журнал на всем этом выиграл. Те, кто Жуковского из деревни вызвали, не ошиблись. Но если они думали, что так навсегда и засядет он за гранки, корректуры, чтение рукописей, исправление переводов и возню с типографией, то тут не угадали. Молодого поэта редакторство может увлечь, но лишь временно, новизной, знаком успеха, материальной удачей. Жуковский при всей и мечтательности своей и полете всякое дело исполнял добросовестно. Литературное же и подавно. Как кормчий «Вестника» был на высоте. Но не вечно же этим заниматься. Тем более что тянуло в края белевские.

В 1810 году он Москву покидает – вновь для деревни.

Снова Протасовы

Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась – решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.

Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготовил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой – вот, ему нравилось заниматься и такими делами.

Для себя же купил небольшое именье рядом с Муратовом, некий поэтический Tusculum. Деньги – все то же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок – любимые черты для него. Много цветов. Перед окнами целые их террасы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке «едва приметным склоном». Мельница «смиренна» шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.

Мелькает над рекой
Веселая купальня –

он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Живо изображает швабского гуся, который домик свой –

На острове, под ивой,
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

Здесь поселяется Жуковский, один – вроде гуся этого, но «вблизи» кое-кого. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей более не дает, но, конечно, все с нею и связано, если бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратово.

Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или пуста. В Тускулуме своем он непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений», занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать наследника. Этим всем хочет восполнить образование – сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое по-любительски и продолжает. Берется за древность – латинский язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, «маткина душка», которую опекает сурово-сибирская мать, – вот она и рождает в нем «звуки небесные», подземно дает славу.

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!

Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима (стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).

Он же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: «То была поэтическая жизнь, и только тогда я был поэтом». Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомнений нет.

Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.

Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо – совсем по-другому.

Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам – играет на виолончели, сам сочиняет немного. По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему-то «Нина»), поет отличным голосом романсы – среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.

К ним ездил Жуковский за сорок верст, как домой. Там его любили. Там он меньше стеснялся, чем с Екатериной Афанасьевной в Муратове. Дом Плещеевых – пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосами сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр – сам писал комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы, фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично читал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что-то в нем чувствовалось приятное, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл «черная рожа», «мой негр»), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге при неравном богатстве: уравнивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский – надежда, чистая восходящая звезда России.

Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по-русски, негр отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло – дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось.)

В это время он написал «Громобоя», романтическую поэму по повести Шписа «Двенадцать спящих дев».

«Громобой», как и «Людмила», – то писание Жуковского, которое теперь считается историческим. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие в грамматику примерами, в общем же наивно, простодушно и полно ужасов не ужасающих.

Однако чрез «Людмилу» и чрез «Громобоя» должен он был пройти. Если бы они пропали, как шуточные стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался бы прорыв.

К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренне: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В «Жалобе» это просто стон по «маткиной душе».)

Именно теперь некоторый кинжал пронзает ему сердце.

Маше семнадцать лет. Ему самому двадцать семь. Между ними все уже ясно – в светлом и высоком духе. Дело идет к соединению жизней. Однако не может быть речи о браке, пока не благословит мать.

По-видимому, первое объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной произошло в 1810 году. Ссылаясь на близкое родство, она заявила, что брак невозможен. В благословении отказала ему начисто.

* * *

Год рождения Маши (1793) был годом Вандеи, разгара французской революции. Ее раннее детство, как и юность Жуковского, проходили в гигантской Скифии, еще сумрачно помалкивавшей, защищенной лесами, равнинами, морозами. Для европейского человека это страна царя и рабов. Запад кипел уже. Громы, паденья царств, молния Наполеона пронзали его. Россия все еще отсиживалась дома. Выпустила, правда, и свою молнию, Суворова. Позже тоже посылала свои войска на запад, медленно, на чужой земле начала проливать кровь своих сынов – и неудачно.

Гроза нарастала. Жизнь же в России шла по-прежнему. В Белеве, в Москве и в Муратове Жуковский писал стихи, Маша училась, молилась, мечтала о любви и наконец полюбила, и весь тон, весь дух и цвет жизней их, мирных и поэтических, так далек был от надвигавшихся событий! Да и понимали ли они в них что-нибудь? Маша читала и Гёте, и Шиллера, и многое другое, о Наполеоне слышала, конечно, как о чуде, но вот именно в дали неизмеримой – в другом мире. Какое он имел отношение к ее жизни?

Жуковский был более ответствен; писатель, одно время и редактор. Но и он в этих делах не много смыслил.

«Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел». Ивику надлежало петь бесхитростные песни, возвеличивая любимую, меланхолически мечтая и тоскуя. Он так и поступал, однако и он в 1806 году, когда Россия воевала еще на чужой земле, – написал «Песнь барда», отклик на современность.

Но это все еще далеко, глухо. «Нас не касается» – Эйлау, Фридланд, очень тягостно и кроваво, но где-то в Восточной Пруссии, там же Тильзит, два молодых императора о чем-то стовариваются, празднуют, заключают мир, навсегда маленький городок прославивший, но никакого мира в мир не принесший.

В то самое время, когда Жуковский помогал Екатерине Афанасьевне строить в Муратове дом, когда писал «Громобоя», просил руки Маши, – тут-то для родины назревало... В 1811 году людям, следившим за политикой, было уже ясно, что война неизбежна. И война страшная. За Наполеоном Европа, он действительно властелин, это борьба за Россию. Но Жуковский, даже когда занимался журналом, политики сторонился. Теперь, в Тускулуме, и того менее. 1811 год шел для него под знаком неудачи объяснения с Екатериной Афанасьевной – и еще печаль постигла его в месяце мае. Закончилась давняя, путаная, греховная – в общем-то приведшая не ко греху – история с его собственным появлением на свет. Скончалась Марья Григорьевна Бунина, его воспитательница и «просветительница», а через двенадцать дней и мать настоящая, Елизавета Дементьевна, некогда девочка Сальха из Бендер. Странно скрестились эти жизни. Началось с горя, прошло чрез рождение светлого дитяти, через примирение «соперниц», из которых одна – барыня, а другая – рабыня. Кончилось тем, что рабыня-соперница как бы не смогла даже пережить смерти барыни – привязанность взаимная существовала между ними уже давно. 12 мая 1811 года скончалась Марья Григорьевна, 25 мая того же года Елизавета Дементьевна.

Эти уходы по-разному отзывались в Жуковском. Марья Григорьевна уже легенда, миф детства, величественное и далекое, с жизнью его теперешней мало совместимое. Нечто и бла-

госклонное, но связанное с тяжелым в самом основном. Существо, к которому отчасти питал он благодарность, отчасти боялся его, отчасти пред ним благоговел. Любил ли просто, по-человечески?

В матери настоящей ничего жуткого, никакого смущения перед высшим, начальственным. Но и любви недостаточно – надо бы больше. Он и сам угрызался, а любовь не появлялась. Можно быть и почтительным, и послушным, но... – «Я люблю ее гораздо больше заочно, чем вблизи». Это его томило. Чувств к родителям по-настоящему он не знал, ни к матери, ни, тем менее, к отцу. Прямо высказывал горечь, завидовал тем, в чьей жизни родители что-то значили.

Все-таки с этими женщинами уходило нечто от детского и дорогого.

Жил же он настоящим. Настоящее – это Муратово, Маша и Александра, сестра ее, да и сама Екатерина Афанасьевна. К ним прирастал он кровно.

Основное светило – Маша. Но как раз к тому времени из младенчества переходит к юности и младшая сестра, Александра, та, что наполняла дом шутками и проказами, брила кошкам усы, хохотала, играла, пела.

Маша *Penserosa*⁴, Саша *Allegro*⁵ – так он их называет. *Allegro* он очень любит, совсем по-другому, чем Машу, она будет милым домашним гением его, светлым видением, оживляющим все вокруг. Будет ему верным другом, поклонницей и переписчицей.

Разумеется, все о томлениях его с Машей ей известно. Это союзная и родная душа. Блеск жизни ее только еще начинается, и вот входит она уже в русскую литературу – более даже открыто, чем Маша. (Ее незачем скрывать.) Ей посвящен был «Громобой» – с особым двенадцатистишием. Теперь появилась «Светлана». Это гораздо больше! «Светлану» он тоже ей посвящает, но тут связь с нею гораздо глубже, она сама как бы Светлана, баллада ею вдохновлена. Саша Протасова живет в хореях этих, ее свежесть, ясность, жизнерадостность брызжет из каждого стиха, несмотря на «жуткие» сцены с завыванием метели, с женихом-мертвецом.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

Во всем легкий мороз, крепость, даже суховатость, редкая у Жуковского, и непобедимо-мажорный тон. Страшное только приснилось. Это не трагедия, как у Людмилы, а тяжкий сон – пред зеркалом, в гаданье видит его Светлана, мучаясь в разлуке с женихом, а с пробуждением ее, в том же русском святочном морозе, с колокольчиком, сквозь туман и блеск солнца на снегу в санках подкатывает настоящий жених: вернулся.

Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!
.....
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Точно бы светлая стихия Светланы оказалась тут сильнее самого Жуковского. Он ей поддался и написал один из ранних шедевров своих, весь проникнутый свежестю ключа. «Светлана» – удача художника. Остро и сдержанно, немногословно и – поэзия, порождено вдох-

⁴ Задумчивая (*итал.*).

⁵ Веселая (*итал.*).

новением и одето ризами неветшающими – чего большего может желать поэт? Самой Саше Протасовой дано как бы новое крещение, в литературе... С этого времени входит она в жизнь Светланою: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и светоносного имени, как бы еще ее возносящего.

А времена были грозны. Ночью комета блистала хвостом своим, «зверь из бездны», над которым не один Пьер Беаухов ломал голову, собирал рать многоплеменную, на самых уже границах России. Александр молчал. В молчании этом нельзя было еще разгадать будущего упорства, желания идти до конца. Гений действия, победы жег Наполеона. Гений охранения, сознания великих тайных сил страны владел Александром.

В начале лета 1812 года французские войска перешли Неман. Война началась.

Первое время она заключалась просто в движении войск на восток. Витебск в июле – решающая минута. Наполеон остановился. Мог бы и зимовать, все наладить с продовольствием армии, ее устройством, ждать весны для похода на Москву. Все так и советовали. Поколебавшись, он двинулся дальше. 5 августа был под Смоленском, с боем взял его. Можно думать, что Россия поражена страхом нашествия, горестью и тревогой. Несомненно, все, что близко было от Смоленской дороги, старалось бежать. Но немного в сторону – та же глушь и ширь, годами налаженное мирное житие. Муратово Екатерины Афанасьевны в Волховском уезде Орловской губернии, Тускулум Жуковского, Чернь Плещеевых под ударами не находились – это южнее, в стороне, все-таки от Смоленска не более двухсот верст. Тут все по-прежнему. Война войной, жизнь жизнью. 3 августа день рождения Анны Ивановны Плещеевой. По тем временам (и тем движениям сведений) в Черни, наверное, не знали, что Смоленск уже в опасности. Война далеко, Бог с ней. Пока что – семейный праздник с угощениями, театром, танцами, чтением. Все муратовские барышни тут, другие соседи, соседки, Жуковский из Тускулума своего.

Торжество проходило блестяще. В августовской ночи летели падающие звезды. «Негр» распоряжался, успевал всюду. Красавица рожденница сияла. Рядом с фейерверком, в ее честь возносившимся, поэт устроил и свой собственный, к ней не имевший отношения: в этот день нашел подходящим прочесть свое стихотворение «Пловец» – Плещеев написал к нему музыку, Жуковский собственно «пел».

Буря занесла пловца «в океан неисходимый». Мрак, бездна, ветры... Челн погибает. Пловец в отчаянии, совсем пал духом. Но «невидимой рукою сквозь ревущие валы» Провидение ведет его и не дает погибнуть. Мрак вдруг исчезает и –

Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов с небес.

Они его и спасают. Он же ничего не хочет для себя.

Дай все блага им вкушать;
Пусть им радость – мне страданье;
Но... не дай их пережить.

Что Маша была для него ангелом, самоочевидно. Светлана-Александра легким гением – понятно. Но Екатерина Афанасьевна? Он ее очень почитал, частию души и любил, все же натяжка героична. Наверно, хотел тронуть, расположить. Действие получилось обратное. Екатерина Афанасьевна просто разгневалась – нет, это уж немножко слишком! Быть влюбленным в близкую родственницу – это его личное дело. Но на людях и прозрачно выставлять все, подчеркивать, вовлекать девушку в неосуществимые фантазии...

Бедный пловец. Объяснение вышло бурным. Известий о нем нет, но на другой день Жуковский должен был оставить Муратово: она просто изгоняла его.

Надо думать, что еще ранее, в июле, когда обнародован был манифест о создании новых военных сил, Жуковский уже собирался на войну. Возможно, кому-нибудь в Москву и писал. Теперь же, во всяком случае, мгновенно собрался и вылетел из своего Тускулума – время самое подходящее.

12 августа он уже поручик Московского ополчения. Враг занял Вязьму и наступает на Можайск.

А в Орловской губернии Екатерина Афанасьевна, прежде чем отбыть с детьми в Муратово, объявила девицам Юшковым, племянницам своим, о любви Жуковского к Маше, его намерениях и о своем отказе.

Про Машу, конечно, они давно знали. Базиля обожали, все горой за него стояли и на тетку обрушились. Тотчас рассказали об этом Плещеевым. (До Маши дошло все это позже, чрез тех же Плещеевых.)

А Жуковский со своим ополчением выступил навстречу неприятелю. Дошли до самого Бородин.

Миловидный поручик с прекрасными мечтательными глазами провел ночь 25 августа лицом к лицу с Наполеоном – в кустах, в резерве армии Кутузова. Ночь эта, перед сражением Бородинским, была тиха, довольно холодна, небо в крупных звездах. Сначала раздавались единичные выстрелы (звук – точно рубят в лесу деревья), потом и это утихло. Заснули все, тишина неизмеримая. Только небо да звезды. Спал ли поручик, и если нет, то о чем думал?

Утром грянула пушка, начался бой. Ополченцы стояли на левом фланге, неприятель напирал здесь всемерно, добиваясь прорыва. Фланг медленно гнулся в течение дня, но известно упорство войск русских под Бородином: ни прорвать фронт, ни обойти французам не удалось. Ополченский резерв медленно отодвигали. В бой не вводили. Артиллерийскому же обстрелу он подвергался – снаряды падали в его расположении. Были потери.

Жуковскому участь князя Андрея не назначалась – не ходил он взад-вперед, ошмурыгивая сухую полынь, дожидаясь роковой бомбы, волчком перед ним взвывшей. Но весь грохот боя слышал, облака дыма, к вечеру свившиеся в сплошную тучу, видел. Страду русского солдата пережил. Не так, разумеется, как толстовские герои. Зло и трагедии, малые или мировые, – не его мир. Это от него отскакивало, никак не проникало, как и он в них не входил. Наполеон мог укладывать тысячи людей, ясности Жуковского не затмевал.

Ясность страшного дня затмилась ночью. Кончилось все вничью. Но с этой ночи Жуковский со своими ополченцами и остатками армии неуклонно откатывался, отступая на Москву. Наполеон вскоре ее занял. А потом наступило затишье. Наполеон сидел в Москве, русская армия множилась и укреплялась. Жуковский успел слетать на несколько дней в родные края.

Очевидно, не так уж велик был разрыв с Екатериной Афанасьевной. Слишком эта семья своя. Слишком он врос в нее, чтобы из-за «Пловца» разойтись. Все-таки ему было предложено смирение – являлся он не победителем. Нелегко было, но явился: ибо здесь для него жизнь. И только здесь.

А Наполеон выступил из Москвы в обратный путь. Напирая, тесня, мучая, двинулись за ним, так же неотвратимо, как отступали, русские преследующие войска. Жуковский укатил в армию – опять объяснения с Машей остались сзади. В Муратове Маша тосковала, он в раннем осеннем холоду шел за Наполеоном. На одном переходе случайная встреча: Андрей Кайсаров, времена университетского пансиона, Дружеского Общества... – встреча имела последствия. Через брата своего, полковника Паисия Кайсарова, Андрей устроил его в штаб Кутузова.

У генерала Скобелева, квартиргера Кутузова, Жуковский писал приказы по войскам. Скобелев срывал даже успех его трудами, Кутузову нравилось красноречие скобелевских приказов и реляций. А тот не стеснялся Жуковским пользоваться. Так было и под Вязьмой, и под Красным.

Но это все еще не литература. Военная литература вторглась в этого неподходящего человека незадолго до Тарутина.

Жуковский написал теперь не канцелярскую бумагу возвышенного стиля, а произведение поэтическое, войной вдохновленное, вроде поэмы: «Певец во стане русских воинов».

Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, все-таки от Державина очень далеко.) Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередуя четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. «Хор воинов» подхватывает последнее четверостишие, как бы «гремит славу» героям. Есть места блестящие. О родине сказано «навсегда», и с детства запало всем («Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия...»), есть строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и не идущие к мечтательному поэту. Но нежное утро – вполне Жуковский, как и строка: «Есть жизнь и за могилой».

В целом же это произведение «на случай». Нет самого в поэзии важного: бесцельности. Тут все имеет цель, все «нужно». Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отошла минута, дело отгремело, и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.

«Певец во стане» дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша, «маткина душка». Белевская Лаура! С ней он безвестно изнывал бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего нужное в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом «Певце во стане русских воинов».

Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала бы иметь их написанными рукою автора, – Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет...».

В конце 1812 года «Певец» появляется в «Вестнике Европы», в январе 1813 года выходит отдельным изданием, а в мае того же года, по желанию императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России.)

И все-таки военная поэзия, да и вообще «военное» – случайность в жизни Жуковского.

Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. («Знакомый с лирными струнами, прячь он лука не умел».) И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав «Певца» и (после Красного) «Вождю победителей», Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось горячкой. Было ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампания во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.

Его отпустили с миром, в январе он возвратился уже домой.

* * *

Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых – да теперь и сам он не скрывал. «Пловец», внезапный отъезд в армию... – вряд ли и тогда она не угадала. Теперь все

было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год – даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.

Жуковский чувствовал себя остро возбужденно и непрочен. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий славный Базиль, с детства в доме произраставший полубрат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).

Ее взгляд был ясен: она знает, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но Церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.

Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, несправедливым. Казалось формализмом – тем в быту христиан, что он праведно не принимал. Он близок к счастью, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа; ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.

Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходил 1813 год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: «Тургеневу» («Друг, отчего печален голос твой...») – полно меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, дорогих друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем – это послание есть прямая летопись души. «Ивиковы журавли» более объективны. Все-таки в самом Ивике, «скромном друге богов», есть нечто знакомое. В его чистом простодушии, в смиренной закланности узнается весьма белевское.

Муратовский поэт безответен, и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного пасаона, Дружеского Общества), он вступает в переписку с прежним приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они –

Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали...

Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял себе его совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял – в конце 1813 года появился в Муратове.

Воейков и Жуковский

Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им же самым приманенный. Воейков и писал, и воевал, и, выйдя в отставку, путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной – двуснастный. Мог оскорблять – и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.

Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэта его не понимал и, вероятно, в душе над ним зло смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.

Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело – особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрой, младшей – Светланой Жуковского. Ей восемнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бреет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, с товарищем своим у них гостящего.

Новый год очень весело встретили. В полночь поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною, – свой же дворовый изображал его. Одно лицо у него было старое, другое молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадцатый
Весельем небогатый
И очень старый год.

Потом повернулся. Теперь лицо его юно. Он продолжает:

А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча. Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть... Неизвестно, потекла ли свеча. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаться шампанским. Янус, на кухне освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.

Воейков записал: «18 1/1 14 г. встретил Орловской губернии в селе Муратове очень приятно в доме Катерины Афанасьевны Протасовой». Перечислив присутствовавших, добавляет: «Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но... *Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?*⁶ и я иногда задумывался, даже грустил».

Таково время. Искренно или неискренно, без сентиментализма нельзя. Отчасти же он и играл одинокого, бесприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать – хозяйку и владычицу. Жуковский же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому, будет Воейков содействовать в сердечных его делах – собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.

⁶ Где может быть лучше, как не в лоне своей семьи? (франц.)

Но это еще не сегодня, не завтра. Пока же что широкая и беззаботная жизнь помещицы продолжается.

16 января Плещеевы отвечают праздником у себя – день рождения Анны Ивановны. Негр постарался. В Черни размеры его оказались еще больше.

Утром отстояли обедню. Затем отправились в рошу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску *à la fourchette*, стоя, и по преимуществу чокаясь.) Прогулка по огромному парку – там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзажами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камера обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амурсы.

Днем, вероятно, карты, для молодежи *petits jeux*⁷, вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в Филотетте Софокла, а затем Негр сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной («К Нине» и известное послание Жуковского). В ее честь огненные буквы сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы эти горят в честь Наполеона... – Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.

Воейков во всем этом принимал участие – в играх, шарадах, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16 января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): «Двойной праздник *fete des rois*⁸ и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А.И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все, кроме меня, подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу. Горацийский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!»

Среди этих изящных дурачеств и горацийских ужнов вряд ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шуточные стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось – время же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.

31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину – за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.

Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруду был Юнгов остров, урна, посвященная Фенелону, и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тургенева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеневых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному, решил совершить паломничество.

В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. «Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда». «Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы». Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастье – и все это чрез Машу. «Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастья!»

⁷ Салонные игры, светские забавы (франц.).

⁸ Праздник королей (франц.).

Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полусимвол, не Дева ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?

Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии – формальная сторона ее неблизка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.

В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском – среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте февральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.

Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца, к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Катерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.

Смысл ее, во всяком случае, велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред лицом Бога, все тогдашнее высокодуховное настроение его не могло пройти даром. («Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: “Ты готовишь мне счастье, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его, как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право”».)

Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким и вошел он впоследствии в Пантеон наш.

* * *

Дело, из-за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел чрез Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру русской литературы – и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство... – сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастью. Вот он пишет ему в Петербург: «Твои дела идут хорошо: говорят о тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук».

«Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство? Это имело бы еще смысл, если б надежда на брак рухнула. Но как раз все наоборот. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника, когда ждет любовь?...»

Жуковский иногда и сам бывал жизнен, умел считать деньги, заботиться о заработке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснодушия. Воейкова называет «брат» (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве-сожитии с тем же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) – будут вместе трудиться, давать себе и другим счастье в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья – Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будет Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет».

У Воейкова, жениха и полупрофессора, будущего сочинителя «Дома сумасшедших», такие письма вряд ли вызывали благодушную усмешку. «Полоумный Жуковский!» Но вот он, Воейков, вовсе не такой, отлично знает, чего хочет, и своего добивается.

Александр Тургенев был в это время уже крупным чиновником. Вместе с Кавелиным кафедру Воейкову устроил. В Муратове воейковские дела тоже устраивались.

Полюбила ли его Светлана? Трудно себе это представить. И на нее, и на Машу Воейков по первому же разу впечатление произвел неважное. Но они обе жизненно еще дети. Близко

знали всего лишь одного Базиля. Не по нем ли и вообще о людях судили? А Воейков друг Базиля. Разве же у Базиля может быть плохой друг? Маменька тоже к нему благоволит...

Воейков распустил хвост павлиний, писал восторженные стишки, изображал себя ски-тальцем и натурой загадочной, жаждущей, однако, берега тихого и светлого. Известное впечатление произвести мог. Несмотря на уродство свое, Светлану заговаривал.

Главное же, заговаривал Катерину Афанасьевну. Тут действовал сразу по нескольким линиям. Есть известие, что изобразил себя владельцем двух тысяч душ, доставшихся ему якобы от брата, раненного под Лейпцигом и скончавшегося. Богат, но несчастен, ибо одинок. И вот, наконец, встретил Ангелов, они вернули его к жизни и т. п. При всем этом – лесть и поклонение безмерные. Торжественные послания Екатерине Афанасьевне, тоже какое-то одурманивание ее, даже влияние умственное: нечто от разлагающего своего духа сумел он в нее вселить. (Выросшая в церковной строгости Екатерина Афанасьевна отказывается, например, под его влиянием, соблюдать посты.)

А для Воейкова власть – блаженство. Многим он обделен. Ни славы, ни таланта, ни обаятельности Жуковского у него нет – пусть зато безраздельное владычество, хотя бы в одной семье.

Из отлучки своей он возвращается победоносно. Кафедру получил. Правда, это и осложняет: переезд всех в Дерпт. Тем не менее он объявлен женихом – и тут совсем уже ясным оказывается, что Жуковский в виде жениха Маши никак ему не интересен, скорей вреден. Он хочет царить в этой семье один, ничего ни с кем не деля.

Теперь видит Жуковский резкую разницу отношения к нему и Воейкову. С ним холодно, за Воейковым всячески ухаживают. Он жених. Свадьба назначена на июль – о чем Жуковский узнает стороной. Все это томит, волнует.

В конце апреля он вновь объясняется с Екатериной Афанасьевной о браке, бурно и неудачно. «Она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родной ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата...»

Она отказала ему начисто. Замечательна притом двойственность положения. Жуковский считает Екатерину Афанасьевну формалисткой, законницей, не желающей уступить йоты, и сам находится на формальной почве. «Закон» не знает, что он сын Бунина, поэтому жениться можно, – сам же он это знает («Я сын ее отца»).

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны? Одно ли сознание церковное ею руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии, мужа с именьями, крепостными? Жуковский, конечно, тяжело на нее негодовал. Он был чист, чистою душою рвался к счастью – своему и Машину. Счастье это отнимали.

От Жуковского идет линия осуждения Екатерины Афанасьевны. Сочувствие на его стороне, бесспорно. Тяжелого чувства к ней преодолеть нельзя. Все же дело со сватовством этим сложно, обоюдоостро, и «по-своему» в чем-то была права и Екатерина Афанасьевна (на обман священника не шла. Может быть, следовало хлопотать в Синоде, разрешили бы? Но этого она и не пробовала сделать!). Во всяком случае, ей самой все это нелегко обходилось. «Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки».

Так писала она верному другу Жуковского, той недавно овдовевшей Авдотье Петровне Киреевской, которая еще девочкой, Дуней Юшковой, называла Базиля «Юпитером моего сердца». Эта юная, пламенная женщина – портрет показывает ее задорную, очаровательную головку с полумужской прической, – она-то и умоляла Екатерину Афанасьевну согласиться на брак. Предлагала, если тут есть грех, взять его на себя – она пойдет в монастырь отмаливать.

Но характер Екатерины Афанасьевны упорен, чтобы не сказать упрям. Суровая юность сибирская, властное управление детьми во вдовстве – ни Базиль, ни Дуня Киреевская, ни дру-

гие племянницы не могли ее сломить. Намеренье насчет монастыря с ужасом она отвергает, но с позиции своей не сдвигается.

Маша верна себе: матери о Базиле все сказала, но воли своей нет. Как маменька скажет, так пусть и будет, и все так должно произойти, чтоб не нарушить маменькина спокойствия. Можно подумать, что Маша вообще тут ни при чем. Она может плакать, сохнуть – все это втайне и неважно: только бы маменька была довольна.

Жуковский же после объяснения вновь из Муратова изгнан – пока не вернется Воейков. Весь май он скитается где-то вблизи – в Черни у Плещеевых, в Долбине у Юшковых. Горек для него этот май. То кажется ему, что еще можно бороться: Лопухин напишет, Владыка Досифей Орловский разрешит: его хорошо знает друг Тургенев. Наконец, Воейков возвратится, повлиет...

А потом другое: нет, надо все принять, смириться. От своего счастья отречься, только о Маше думать, ее спокойствию, остаться братом-сестрой с любовью надзвездной. «Разве мы с Машей не на одной земле и не под одним отеческим правлением?» Бог-то их всех выше. Он и устроит, во славу любви-дружбы.

До нас дошли тетрадки, в 16-ю долю листа в синей обложке: письма-дневники Жуковского и Маши – безмолвный, трогательно-нежный диалог. 21 июня передает он ей свой дневник за май. В нем ничего не записано, а письмо объясняет почему: слишком трудно было преодолеть мрак. «Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости – и вот все. Можно ли было об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо».

Но вот теперь, в Муратове, в конце июня, с ним происходит странное. Он пишет письмо Марии Николаевне Свечиной (тоже родственнице, но не стороннице брака). Начало письма мрачное, «и мысли и чувства были черные». Вдруг останавливается... «будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменялся». В некой восторженности он встает, не dokonчив письма, идет в залу искать платка. Там встречает Машу. Она подает ему изломанное кольцо. Он дает ей свое. Все как бы в полусне, сомнамбулически. Но нечто случилось, оба понимают, что произошло важнейшее: поменялись кольцами, обручились на новое, возвышенно-прекрасное, но в земном плане безнадежное. Кольцо даже не им дано ей и не ею ему. Промысел ведет их высшим – пусть сейчас и горестным путем.

* * *

В конце июня, начале июля скитается Жуковский близ Орла. Едет вслед за Протасовыми, останавливается там же, где только что они ночевали. Маша ведет его за собой.

В Куликовке под Орлом, только печалию его и отмеченною, на постоялом дворе сидел он на том же месте, «где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя». Хозяйка знала, что одна из барышень той госпожи, что останавливалась у ней, выходит замуж. Жуковский уверил ее (да на мгновение и сам, может, поверил), что жених именно он, но не младшей, а старшей дочери.

«Вчера, подъезжая ко Мценску, я смотрел на рошу, которая растет близ дороги; погода была тихая, и роша была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца». Вот рамка горя. Оно принимает оттенок просветленно-мечтательный. Оно все-таки не безысходно, ибо за ним возвышение души, ее возвышение все той же Маше. Все для нее. Для ее счастья и радости должен он жить – это и укрепляет. О, разумеется, не всегда. Путь еще долог, труден.

Мир, тишину русского вечера деревенского он вкусил в каких-то Сорочьих Кустах. В Разбегаевке не остановился, видел, однако, там двор, «где ночевала Маша с матерью».

«Около меня бегают три забавных мальчика, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся». Но, конечно, он их и утешил: пятак

дал, а землянику вернул, между ними же и разделил. (Очень ему подходящи эти дети. Только ему, как взрослому, смиряться приходится не из-за гроша и пятака.)

В Губкине лежит в сарае, в санях на сене. Читает Виланда «Diogenes von Sinope»⁹ «и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу – даже срисовал его».

Далее философствует. Провидение «располагает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ свыше приобрести лучшее. Надобно только верить».

Побывал он в летнем своем блуждании и в Орле, и у Павла Протасова, дяди муратовских барышень (тот его подбодрял, в деле брака сочувствовал).

В конце концов 9 июня Жуковский оказался в Муратове.

Что Екатерина Афанасьевна приветствовала брак Воейкова со Светланой, еще понятно. Гораздо удивительней – Маша и Жуковский одобряли его. Оба искренно, глубоко любили Светлану, оба толкали ее на несчастный шаг. Оба поняли поздно и каялись в пустой след. У обоих ошибка, по-видимому, шла от неверной оценки Воейкова – вина Жуковского больше. Со своим голубым туманом в глазах он и накануне свадьбы мог еще обнимать Воейкова, целовать его, плакать, давать «слово в братстве». Братство! Все тургеневско-кайсаровское еще владело им, сладостные слова мешали видеть. Что же сказать о Маше, которая вся была в возвышенных книгах, религии, смирении и на все смотрела глазами Базиля?

⁹ «Диоген Синопский» (нем.); сокращенное название книги новелл классика немецкой литературы Кристофера Мартина Виланда (1733–1813) «Сократ беснующийся, или Диалоги Диогена Синопского».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.